

УДК 177

DOI: 10.17223/1998863X/63/27

А.В. Карабыков

ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: УТИЛИТАРИЗМ, ИСТОРИОСОФИЯ И КАТАРСИС (ВЕРСИЯ ДОСТОЕВСКОГО)

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 20-011-00622 «Философия как действие: прагматика текстового поведения».

Цель статьи – пересмотреть шаблонную трактовку идейной подоплеку преступления, вокруг которого разворачивается сюжет романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», и дать более глубокое и верное ее прочтение. В согласии с ним, прямым мотивом к убийству старухи-процентщицы и ее сестры послужила не теория Раскольникова, изложенная им в его статье и позже, в ходе первой беседы со следователем, а широко распространенные в то время «передовые» убеждения, главным рупором которых в романе служит Лужин.

Ключевые слова: социальная этика, социал-дарвинизм, неравенство, христианство

«Тварь ли я дрожащая или право имею...» – этот роковой вопрос, ставший мемом русской культуры, мы выносим из школьной премудрости, чтобы уже не забыть никогда. И странно, что запоминается именно эта альтернатива, греховную нелепость которой призван явить великий роман Достоевского. Нам кажется, что в ней содержится суть теории, желая применить которую – чтобы проверить себя по ней – Родион Раскольников, главный герой романа, совершил тихое убийство, прогремевшее на весь мир. Но если мы решим перечитать «Преступление и наказание» (1865), то не без удивления узнаем, что впервые Раскольников мотивирует свое злодеяние, совершенно еще анонимное, ссылкой на совсем другие, чужие идеи. Это случается, когда о его теории, намек на которую дан был в его статье «О преступлении» (она вышла за два месяца до описываемых событий в одной из петербургских газет), нам еще почти ничего неизвестно. Идеи эти излагает Пётр Петрович Лужин, несостоявшийся зять Раскольникова, во время единственного визита к нему. Когда разговор с мировоззренческих тем вернулся к новости дня, убийству, и Лужин выразил недоумение о причинах роста преступности даже и «в высших классах», Раскольников, до тех пор предпочитавший хранить молчание, вдруг заявил:

– По вашей же вышло теории!

– Как так по моей теории?

– А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...

– Помилуйте! – вскричал Лужин [VI. С. 118]¹. И затем прибавил, что «экономическая идея еще не есть приглашение к убийству» [Там же].

Так по чьей же теории «вышло» убийство старухи-процентщицы и ее сестры? По одной из них или сразу обеим? Какого рода причинность сопря-

¹ Здесь и далее ссылки на произведения Ф.М. Достоевского даются по Полному собранию сочинений в тридцати томах (Л.: Наука, 1972–1990). В скобках указываются номер тома и страница.

гает каждую с преступлением Раскольниковова? Верно ли то, что приходит на ум при первом приближении к проблеме, – именно то, что теория Родиона Романовича заключала в себе прямой и действительный мотив, а теория Петра Петровича – только формальный и / или случайный? И вообще, разные ли это теории или одна служит только парафразой другой? Наконец, если обе они губительны, какое противоядие для каждой предлагает автор? Чтобы разобраться в этих вопросах, я последовательно рассмотрю обе теории, а затем изучу диалектическую связь между ними, прослеживаемую в романе и других произведениях Достоевского. В завершение я обсужу рецепт панацеи, который выписывает мыслитель современному ему (и нашему?) обществу, пребывавшему в этих и прочих духовных недугах.

Теория лужиных

Имя собственное здесь уместней заменить нарицательным, так как, в отличие от Раскольниковова, Лужин не претендует на авторство и тем паче оригинальность своей теории. Напротив, он горд от того, что исповедует самые передовые воззрения, если не ставшие пока, то обещающие вскоре стать нормативными. Лужины, имя коим легион – легион, набербованный из городской полу- или просто интеллигенции, малолюбимой писателем, – это, в первую очередь, выразители духа времени, пловцы по мейнстриму... Впервые о кредо Петра Петровича мы узнаем из письма Пульхерии Раскольниковой, где она так представляет сыну жениха Дунечки: «В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, „убеждения новейших поколений наших“ и враг всех предрассудков» [VI. С. 31]. По сути, здесь сказано все, так что когда во время злощастной встречи в каморке Раскольниковова Лужин излагает свои взгляды более обстоятельно, он только уточняет эту самохарактеристику. Самым знаменательным в ней является «но», противопоставляющее его «положительность», т.е. соответствие принятым в обществе правилам нравственности, и прогрессивность его руководящих воззрений.

Эти вещи действительно были в конфликте: христианская мораль, размывание метафизических основ которой превращало ее все больше в условность, от коей еще неприлично отказываться публично, и передовые идеи, с позиций которых эти основы, как все трансцендентное, – «предрассудки», мешающие общественному прогрессу. Мы знаем, что Ницше (1844–1900), ставивший Достоевского едва ли не выше всех современных авторов, хотел разрешить этот конфликт, пересмотрев с позиций натурализма «устаревшую» нравственность. В свою очередь Достоевский стремился к его снятию через разоблачение «передовых» убеждений и укрепление традиционной этики. О том, что это за убеждения, говорит Пётр Петрович, противопоставляя их центральной христианской заповеди: «Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более

рваного кафтана и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния» [VI. С. 116]. «Рационально» выверенный эгоизм и атомизация общества, чья «безвозвратная отрезанность от прошедшего», столь чтимая Петром Петровичем, должна привести к разрыву всех духовных связей между людьми, наученными не любить, а использовать друг друга, – вот квинтэссенция лужинской теории [VI. С. 115]. И если сегодня кто-то решит, что, нет, не могли сколько-нибудь разумные люди видеть в этой теории самый надежный путь к достижению всеобщей гармонии, пусть вспомнит, к примеру, Герберта Спенсера (1820–1903), олицетворявшего мудрость викторианской эпохи. Спенсер учил, что каждому следует печься о собственном преуспеянии, о всех прочих же позаботится эволюция, направляющая мир ко все большему благоденствию. Когда-нибудь его слаженность станет такой, что в нем просто не останется места злу: все существа либо идеально приспособятся к реальности, либо исчезнут. Так что, заботясь о себе, ты способствуешь эволюции, ибо становишься более адаптированным, а заботясь о «неудачниках», ты искусственно поддерживаешь неприспособленное, а значит, препятствуешь ей [I. С. 61–68; см. также: VI. С. 14, 288–289].

Теория Раскольникова

Искажаясь и варьируясь, эхо этой теории неоднократно звучит в романе. Сам Раскольников видоизменяет ее по ходу развития событий. В силу этого ее рассмотрение я начну с версии, которую назову *канонической*. Лапидарно намеченная в его статье, она предшествовала второй – *модифицированной*. В детали канонической версии Раскольников входит при первой встрече со следователем, чтобы не допустить ее превратной трактовки. Напомню, что, по этой теории, все люди делятся на два типа: обыкновенные и «высшие», для которых, как выразился Порфирий Петрович, «будто бы и закон не писан» [VI. С. 199]. Спеша оградить этот пункт нужными оговорками, Родион Романович уточняет: «Я просто-запросто намекнул, что „необыкновенный“ человек имеет право... т.е. не официальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует» [Там же]. Мы видим здесь, что отличительной чертой «высших» служит осмысленность их жизни, подчиненность ее некой сверхличной идее. Это не «белокурые бестии» Ницше, у которых инстинкты довлеют над совестью и рассудком. Но о том, какой может быть эта идея, Раскольников говорит крайне скупое. Можно решить, что она непременно полезна для общества. Однако это не так. В канонической версии его размышления о ней вращаются не вокруг *полезнаго*, а вокруг *нового*. Мы убеждаемся в этом уже на первых страницах романа (ср.: «Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся...» [VI. С. 6]), и в этой беседе со следователем Раскольников укрепляет нас в этой мысли, неоднократно характеризуя «высших» как «имеющих дар или талант сказать в среде своей *новое слово*» [VI. С. 200]. Герой настаивает на сущностно-объективном, а не оценочно-субъективном свойстве антропологической иерархии, утверждая, что для общей экономии мироздания равно необходимы оба типа, каждый из которых не мог бы существовать без другого: «Первый разряд всегда – господин

настоящего, второй разряд – господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те и другие имеют совершенно одинаковое право существовать» [VI. С. 200–201]. Судя по эсхатологическому контексту этой фразы, под целью здесь имеется в виду не что иное, как завершение истории. Удивительно, что, колеблясь в отношении загробной жизни и самой экзистенции Бога и отрицая их в других ситуациях, Раскольников явно нелживо, с почти торжественной твердостью исповедует здесь веру в эсхатон, бессмертие души и телесное воскресение.

Из этого видно, что, в отличие от Лужина, он не находит свою теорию антихристианской. На его взгляд, она никого не дискриминирует: «все равно-сильное право имеют», а перманентное противостояние между типами происходит из их обоюдной опасности друг для друга, которая побуждает обе стороны защищать свое существование, в том числе через сопротивление противоположной. Если «высшие» в известных случаях могут «разрешать своей совести» право на насилие, то «низшие» пользуются этим правом без внутреннего конфликта – через отправление ими учрежденного правосудия, казнь преступников или ссылая их на каторгу. В норме их насилие, делегируемое государству, вершится в интересах большинства, как оно понимает их в данное время. Вообще говоря, неизбежное зло, сопровождающее этот конфликт, Раскольников мыслит наподобие физической боли, как нечто естественное для падшего мира, и выводит свою теорию из плоскости должностования: так было, так есть и будет – «до Нового Иерусалима, разумеется!» [VI. С. 201, 203]. Я ничего не предписываю, а лишь констатирую, – как будто хочет донести он до своих оппонентов: следователя и спутников, – знакомя их со своей теорией. В ней оставалась еще неясность, за которую не преминул ухватиться цепкий ум Порфирия Петровича: если дело касается судеб людей и общественного порядка, надо бы знать критерии, по которым человеческий род разделяется на два типа. В противном случае неустранимы частые ошибки самоидентификации: пусть оба вида суверенны и значимы, но субъективно все же лестнее причислять себя к «высшим». Не сменится ли относительный социальный порядок «законами джунглей», если его воззрения получают признание? [VI. С. 201–203]. Раскольников отвечает тезисом о наличии естественной регуляции, отсекающей мнимо-высших: встающие не на свой путь вскоре отрекаются от него из-за его непредвиденной тяжести и «никогда далеко не шагают» [VI. С. 202].

Таким образом, взятая в канонической форме, теория Раскольникова имеет преимущественно историософский, не лишенный романтизма характер, хотя и разворачивается как комментарий к финальным строкам его статьи по криминальной психологии. Сама по себе эта теория не содержит в себе ничего аморального, бунтарского или богоборческого, как, например, мысли Ивана Карамазова о мировом зле. Она в чем-то близка к историософским взглядам Т. Карлейля (1795–1881) и П.Я. Чаадаева (1794–1856), изложенным в двух предпоследних «Философических письмах»¹. Впервые изданные за

¹ Ср. суждение Чаадаева о Моисее: «...Человек, бывший столь выдающимся орудием в руках провидения, поверенным всех его тайн, мог действовать только подобно провидению, подобно природе; что время и поколения людей не могли иметь для него никакой ценности; что миссия его заключалась не в том, чтобы проявить образец справедливости и нравственного совершенства, а в том, чтобы внедрить в человеческий разум величайшую идею, которую разум этот не мог произвести сам» [2. С. 424].

границей в 1862 г., эти «Письма» могли быть доступны Достоевскому во время его европейских поездок. Сверх того, эти воззрения Раскольникова разделял сам писатель. В статьях и черновых заметках он не раз озвучивал их с той же прямотой и отчетливостью, как и его герой. За недостатком места ограничусь дневниковой записью последнего года жизни: «Когда же это государство создавая говорило: я создаю для середины. (...) Нет, всегда вели избранные. (...) И тотчас после этих мужей середина, действительно, это правда, формулировала на идеях высших людей свой срединенький кодекс. Но приходил опять великий или оригинальный человек и всегда потрясал кодекс» [3. С. 676]¹.

Диалектика перехода

Если Достоевский не имел по существу ничего против исходной версии теории Раскольникова, почему в конце романа он характеризует убеждения героя как «глубокую ложь» [VI. С. 418]? Самый простой ответ, который я усложню далее, сводится к следующему: ложные убеждения, непосредственно обусловившие убийство, не являются частью этой теории. Они скорее добавляются к ней паразитарным образом, задавая способ обращения с нею. Допустим, что в этой теории действительно уловлены социально-исторические законы, и в этом смысле она истинна. Но даже в таком случае эти законы не относятся к числу подлежащих экспериментальной проверке – они лишь *усматриваются и угадываются*. Не случайно Раскольников в определенный момент производит впечатление тайнозрителя, охваченного мистическим трепетом, когда говорит о них скептически настроенным собеседникам. Эти законы не могут умышленно применяться людьми, поскольку относятся к таинственно-провиденциальной сфере. На их фундаменте нельзя построить никакой идеологии без коренного извращения и подлога. Задумав применить их на практике по собственному почину, Раскольников извращает свою теорию и потому с необходимостью проваливает опыт. Желая выяснить свой тип в соответствии с нею, он проверяет лишь свою способность совершить зло и вынести его последствия, заглушив голос совести. «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил», – говорит он Соне, мало веря в это сам, ибо тут же прибегает к совершенно иным объяснениям случившегося [VI. С. 318]. Действительно, по его теории, Наполеонами скорее рождаются, чем становятся, когда присущий кому-то «дар или талант» пробуждается в силу благоприятных исторических обстоятельств. Впрочем, сам он понимает вымученность своего замысла, заявляя Соне под очистительным влиянием ее святости: «И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть иметь? – то, стало быть, не имею права власть иметь» [VI. С. 321]. Сверх того, ложен и способ этой бессмысленной самопроверки. Насилие, которое могут совершать «высшие» во имя победы в мире новой идеи, вовсе не является непременным или существенным аспектом их деятельности, что признает

¹ Ср. в «Дневнике писателя» за 1877 г.: «И что же, на самом-то деле эти массы кричащих людей предназначены послужить собою лишь косным средством для того, чтоб разве единицы лишь из них приблизились сколько-нибудь к истине или по крайней мере получили бы о ней хоть предчувствие. Вот эти-то единицы и ведут потом всех за собою, овладевают движением, родят идею и оставляют ее в наследство этим мечущимся массам людей» [XXV. С. 95; см. также: XXIV. С. 47].

сам герой. Однако он гипостазировывает момент насилия, трансгрессии, делая его самоценным и потому не нуждающимся в оправдании контекстом всей миссии и ее исполнения. По этой причине его деяние стало не исполнением закона (номоса), предположительно направляющего ход жизни, а его нарушением (аномалией), эту жизнь отрицающим, что опять же признает он в борьбе-исповеди у Сони. «Лучше... предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну... и, пожалуй, еще склонен к сумасшествию», – предлагает он новое объяснение, и оно ближе к истине, чем предыдущее, с Наполеоном [VI. С. 320]. Итак, если с ним действительно случился «промах» или «глупость», как он позже называл свое крушение: муки совести и явку с повинной, то «промах» этот состоял не в том, что он взялся за дело не своего масштаба, а в том (помимо убийства как такового), что он своей уродливо-нелепой проверкой извратил и дискредитировал теорию, сделав из нее в корне ложные выводы.

Почему так произошло? В этом, возможно, самом мистическом из своих больших романов, Достоевский формулирует предельный ответ в терминах наваждения и искушения. «От Бога вы отошли, и вас Бог поразили, дьяволу предал!..», – ставит диагноз Соня, и Раскольников соглашается с ней [VI. С. 321]. Это дьявольское наваждение поражает рассудок героя, а после убийства весь строй его души, заменяя естественную любовь к людям страшным, сатанинским отчуждением от них, граничащим с чистой ненавистью (ср.: «Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту» [VI. С. 90]). До самого конца романа разум его так и остался помраченным: он борется на стороне темных сил против глубин души Раскольникова, где, несмотря ни на что, сохраняется живая связь с бытием, рождающая в герое мучительную жажду жизни и любви. И этот угнетенный разум задним числом перевирает всю теорию, из-за чего мы больше не встречаем ее в канонической форме. Тогда, во время первой беседы со следователем, Раскольников излагал ее без всякой нужды в оправдании. Теперь он прибегает к ней как раз для этого, ища обоснование убийству, которое в итоге «вышло совсем не так, а как-то нечаянно, даже почти неожиданно» [VI. С. 59]. Если не брать в расчет попытку реинтерпретировать теорию в волюнтаристском ключе («Я захотел *осмелиться* и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!» [VI. С. 321]), мы видим всюду лишь одну ее модификацию. Ее не раз озвучивает сам Раскольников и – с его уст или без связи с ним – другие люди. Этот извод его теории имеет утилитаристский пафос и выступает в роли переходного звена, соединяющего ее каноническую форму с теорией лужиных. В нем на самом деле много сходного с последней: идея человеческой иерархии, в которой чувствуется дух Средневековья, отходит в тень бескачественно-однородной атомарности, в силу которой люди делятся не по устойчивым чинам, а на основе единичных и ситуативных актов, как в смежной с ней волюнтаристской версии. Но главное, что отличает это переходное звено, заключено в замене *нового полезным*. Теперь мы слышим, что убийство было задумано ради банального ограбления. Разумеется, это не так: к великому удивлению судейских, Раскольников не только не воспользовался ничем из похищенного, но даже не узнал, чем именно он завладел. Все в той же беседе с Соней он говорит, что решил присвоить «старухины деньги», чтобы «употребить их... на обеспечение себя в

университете, на первые, шаги после университета, – и сделать все это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать...» [VI. С. 319]. Тут же отрехшись от этого объяснения, он возвращается к нему чуть позже в исповедальном разговоре с сестрой. Но в этот раз, вне очистительного света святости, он не может выбраться из пут искустельной лжи и рисует куда более радужную картину: «Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется, при неудаче... (...) Эту глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользой...» [VI. С. 400]¹. Ранее с этой версией сестру Раскольникова знакомит Свидригайлов. И то, что сам он прибегает к этой утилитарно-филантропической схеме, чтобы оправдать перед Дуней брата, говорит о том, что такой ход мысли был понятен и приемлем для него (ср.: «А насчет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится» [VI. С. 379]). И не только для него одного. Как не раз потом вспоминал Раскольников, в день первой встречи с будущей жертвой, когда, оставив ей заклад, он заглянул в трактир и там впервые посетила его «странная мысль», он вдруг услышал рядом разговор двух молодых людей. И – поразительно! – речь шла о ней же, «гаденькой» процентщице, которая, как узнал герой, завещала все деньги монастырю, обездолив свою младшую сестру. И тут студент, один из собеседников, стал развивать, по замечанию писателя, «самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им (Раскольниковым. – А.К.), в других только формах и на другие темы, молодые... мысли» [VI. С. 55]. Эти идеи составляли суть модифицированной версии, сводящейся к тому, что благая цель способна оправдать любые средства и потому «одно крошечное преступленьце [загладится] тысячами добрых дел»; и как может быть иначе, если «за одну жизнь – тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения. Одна смерть и сто (жизней. – А.К.) взамен – да ведь тут арифметика!» [VI. С. 54].

Эта сравнительная калькуляция выгод, рожденная из духа капитализма, новоевропейской науки и с ними связанной социальной физики с ее людьми без свойств, подлежащими статистическому учету, фундирует, как помним, и теорию лужиных. В обеих них мы видим культ измеряемой пользы и прогресса, сводящегося к приросту, диктат абстрактного рассудка и обезличивание масс – словом, все то, что образовывало формулу *Zeitgeist*-а, в котором задышался Достоевский и его ключевые герои. Чуждая этому духу, каноническая версия теории Раскольникова переходит в модифицированную версию раскольниковых путем подмен и искажений – они несоизмеримы. Напротив, последняя переходит в теорию лужиных и обратно совершенно естественно – они близкородственны. Только в замыслах детей (Раскольникову 23 года) все начинается с преступления, а у отцов (Лужину 45 лет) все им заканчивается. Ведь чтобы лужинская теорема – сумма индивидуальных преуспеваний равна общественному благоденствию и согласию – была доказуема, необходимо, чтобы личная выгода не возводилась в культ, но уравновешивалась волей к

¹ Писатель указывает, что незадолго до описываемых событий Свидригайлов, возможно, сам отравил свою жену, от которой зависел финансово. Если так и было, то и он пытался «загладить» свой грех, когда, овладев ее состоянием, обнаружил склонность к благотворительности.

солидарности, основанной на общих ценностях и идеалах. Ни этой воли, ни духовного ее основания в идеологии лужиных не прослеживается. Сверх того, по Достоевскому, надежной основой этого рода может служить только вера в бессмертие души и воздаяние за гробом [XXIV. С. 48]. Только ей под силу уравнивать животный эгоизм, питаемый в смертных осознанием их конечности. Однако лужины готовы полагаться не на истины Откровения, а лишь на очевидность «арифметики» с ее « $2 \times 2 = 4$ » и «все люди смертны, Сократ – человек, а Иисус не существовал вовсе». Но если так, формула лужиных-спенсеров включает в себе ложь или заблуждение, одинаково удобные для оправдания собственного эгоизма. Нечего тревожиться: в конце концов «невидимая рука» рынка или эволюции направит ко всеобщему благу даже самую безудержную жажду наживы и власти.

Позже, в «Братьях Карамазовых», Достоевский продумает интересующую нас диалектику более основательно. В черновых набросках к роману устами старца Зосимы он даст лужиным свой последний ответ: «И не мечтайте о том, матерьялисты, что взаимная выгода заставит и вас устроиться в порядке, как бы и впрямь в общество. Не может этого и быть, ибо общество ваше потребует жертв от каждого, а распущенное желание не захочет дать жертв. Сильное желание и сильная способность не захочет быть сравнена с ординарною, а так как нравственной связи не будет, кроме взаимной выгоды хлеба, то и... начнете побивать друг друга в вечной вражде и поедите друг друга, кончится тем» [XV. С. 254]. Видя порочность формулы отцов-ультралибералов, но вслед за ними беря в качестве основы материалистическую науку, социалисты-дети были готовы начать путь к земной идиллии со злодеяния, будь то грабеж или красный террор. Нечего тревожиться: главное, после двигаться в соответствии с выверенным планом, не выдавая по примеру отцов желаемого за реальное, к построению «дивного нового мира»... Но даже если он будет построен, разве не будет в нем царствовать над порядком и всеми расчетами ее величество смерть и, в силу ее неизбежности, зависть и жадность, присущие смертным, и наконец идущая вслед за ними ненависть вечной вражды? И как старец Зосима стремится открыть глаза «положительным» лужиным, так Иванов черт спешит просветить молодых радикалов, намеренных «все разрушить и начать с антропофагии»: «Глупцы, меня не спросились! Помоему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! (...) Раз человечество отречется поголовно от Бога..., то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность... Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человеко-бог» [XV. С. 83]. Потом же эти *homines dei* начнут истреблять друг друга в борьбе за безграничное господство над ограниченными ресурсами.

Русская панацея

Можно долго спорить о том, сколь верны были диагноз и прогноз, данные Достоевским современному миру. На мой взгляд, они подтвердились во многом. В европейских странах, где атеизм распространился особенно скоро и прочно – прежде всего в самой России, вопреки душевной вере писателя, – социалисты действительно взялись строить свой новый мир, топя в крови старый, и у них ничего не вышло. Избежавшие этой участи либеральные де-

мократии по мере сгущения в них сумерек пост-христианства рискуют все больше разбиться о Сциллу «горизонтальной» тоталитарности или Харибду доморощенного варварства, по-лужински славящего свою «отрезанность от прошедшего». Впрочем, оставим диагноз и в завершение поговорим о лекарстве. На первый взгляд, его рецепт прост: не отрекаться от Бога, а, отрекшись, возвращаться к Нему. Но, с точки зрения Достоевского, Бог жил в национальном «теле» русского народа, сей самой истинной своей церкви [XXVII. С. 18–19]. Поэтому для мыслителя не существовало большого различия между крестьянскими и христианскими убеждениями [3. С. 400]. В этом смысле он был певцом и апологетом «долгого Средневековья» (Ж. Ле Гофф), которое – на век поздней, чем на Западе, – завершалось тогда в России [4. С. 119–162]. Его восьмидесятимиллионный народ действительно оставался средневековым: сельский, неграмотный, живший традициями старины, православием, смешанным с суевериями. Писатель верил, что, несмотря на пороки и невежество, русский народ пребывал здоровым в своей основе. От него произойдет «спасение Руси» [XIV. С. 285]. И к нему должны возвращаться за исцелением его дети, отправшие от него в Модерн. Раскольников получил такую фамилию не из-за одной утраты духовной цельности – он еще и раскольник, сектант, обособившийся от целого. Чтобы спастись, избавившись от неверия и нигилизма, он должен переродиться в народной утробе Руси-Церкви¹. Лучше всего суть панацеи, предлагаемой Достоевским, можно выразить в алхимических образах: жизнь народная – это реторта, а любовь и страдание – катализаторы, ускоряющие в ее содержимом процесс очищения. Хотя в «Преступлении и наказании» доминирует страдание, а в «Братьях Карамазовых» любовь, эти главные силы жизни действуют сообща... Но долгое Средневековье закончилось, и реторта разбилась... «Судите наш народ не по тому, что он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы», – настаивал Достоевский [XXII. С. 43]. Допустим, что он был прав, и приложим ту же мерку к современности. Она погрузится в имперско-потребительскую, гедонистическо-монархическую, либерально-коммунистическую муть, где славно чувствуют себя только лужины и свидригайловы, предпочитающие не иметь никаких убеждений, кроме важности наживы и наслаждения. Тогда весь вопрос в следующем: могут ли любовь и страдание исцеляюще действовать вне старой реторты? Да, несомненно, ибо если «назначению русского человека» не довелось стать «всемирным», то творчество русского гения поистине сделалось таковым [XXVI. С. 147]. Не почва, но время очистило его от наносного и предвзятого, сделав его источником катарсиса для тех, кто наделен всечеловеческим даром сопереживания.

Литература

1. *Спенсер Г.* Политические сочинения: в 5 т. Т. II. Москва; Челябинск: Социум, 2014. 527 с.
2. *Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М.: Наука, 1991. Т. I. 798 с.

¹ Достоевский так и определяет этот процесс, имеющий прежде всего экзистенциальный, а не просто интеллектуальный характер: «История постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомою действительностью» [VI. С. 417]. Не случайно поэтому в период суда и начала каторги матери Раскольникова, от которой сокрыли деяние сына, снится, что он уехал по долгу службы на *девять* месяцев [VI. С. 414].

3. *Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради (1860–1881 гг.)*. М. : Наука, 1971. 728 с.

4. *Ле Гофф Ж. Стоит ли резать историю на куски?* СПб. : Евразия, 2018. 188 с.

Anton V. Karabykov, V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russian Federation).

E-mail: meavox@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2021. 63. pp. 275–284.

DOI: 10.17223/1998863X/63/27

THE GENEALOGY OF CRIME: UTILITARIANISM, HISTORIOSOPHY, AND CATHARSIS (DOSTOEVSKY'S VERSION)

Keywords: social Darwinism; social ethics; inequality; Christianity

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 20-011-00622.

The article aims to revise the stereotyped interpretation of the ideological background of the crime around which the plot of Dostoevsky's novel *Crime and Punishment* (1865) unfolds and to give a deeper and more accurate reading of it. According to this reading, the direct motive for the murder of the old usurer and her sister was not Raskolnikov's theory, which he set forth in his article "On Crime" and later, during the first conversation with the investigator, but the 'progressive' beliefs widespread at that time. In the novel, the main mouthpiece of these beliefs is Luzhin. His theory was the first to be stated in the novel, and it is with it that Raskolnikov first connects his atrocity. In what relation to each other are the two theories? What kind of causality connects each with the murder? To answer these questions, the author sequentially examines the theories and then reveals the dialectical connection between them, traced in the novel and other works by Dostoevsky. At the end, a recipe for a panacea is discussed, which the writer prescribed to his modern (and our?) society, captivated by false mindsets and beliefs. It is shown that the quintessence of Luzhin's doctrine consisted in justifying selfishness, unlimited competition, and atomization of society, called to abandon traditional Christian ethics in the name of those 'advanced' ideals. As for Raskolnikov's theory, since he modifies it in the course of events, two main versions of it should be distinguished: canonical and modified ones. Unlike Luzhin, Raskolnikov does not find his theory (its canonical version) anti-Christian. In his opinion, it does not discriminate against anyone, and the permanent confrontation between the 'higher' and 'lower' human types comes from their mutual danger for each other. It is proved that this theory has a predominantly historiosophical character, not devoid of romanticism, and that in general it was the theory of Dostoevsky himself. Thus, the real motives for the murder are not directly related to this theory. Rather, they are added to the theory in a parasitic way and set a mode of using it for people cannot deliberately apply the socio-historical 'laws' elucidated in the canonical version since these laws belong to the mysterious-providential realm. No ideology can be built on their foundation without their radical perversion and forgery. Using them for the purpose of self-examination is also false. Violence that the 'higher' may commit in order to introduce and defend a new idea in the world is not at all an indispensable or essential aspect of their mission. Raskolnikov recognizes it himself. However, he hypostases the moment of violence and transgression making it self-sufficient. It is proved that, whereas Raskolnikov set out the canonical theory without any need for his justification, he created the modified version precisely for this purpose, finding a *post factum* justification for the murder. Being alien to the *Zeitgeist*, the canonical version transforms into a modified version by forgery and distortion for they are incommensurable. On the contrary, the latter goes into Luzhin's theory and back naturally since they are closely related.

References

1. Spencer, H. (2014) *Politicheskie sochineniya: v 5 t.* [Political Works: in 5 vols]. Vol. 2. Translated from English. Moscow; Chelyabinsk: Sotsium.
2. Chaadaev, P.Ya. (1991) *Polnoe sobranie sochineniy i izbrannye pis'ma: v 2* [Complete Works and Selected Letters: in 2 vols]. Moscow: Nauka.
3. Zilberstein, I.S. & Rozenblyum, L.M. (eds) (1971) *Neizdannyy Dostoevskiy: Zapisnye knizhki i tetradi (1860–1881 gg.)* [Unpublished Dostoevsky: Notebooks and Notebooks (1860–1881)]. Moscow: Nauka.
4. Le Goff, J. (2018) *Stoit li rezat' istoriyu na kuski?* [Is it worth cutting history to pieces?]. St. Petersburg: Eurasia.